

Культура. ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ: "Я... ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВДОВА"

Автор: Л. А. АННИНСКИЙ

Ольга Берггольц: "Я... ленинградская вдова"*

Она редко видела отца "в градусе", но однажды, когда после третьей рюмки он по обыкновению запел басом "Гаудеамус игитур", - заметила вскользь: "старый дерптский студент".

А если не вскользь, то пусть биографы великой поэтессы выяснят генеалогические корни военно-полевого хирурга, который воевал против германцев в империалистическую, потом против белых в гражданскую, потом шел по льду Финского залива - давить Кронштадтский мятеж, потом несколько десятилетий лечил заводских рабочих в пригороде Ленинграда ... Главное же - дал дочерям фамилию, почти непроизносимую для русского уха ... Повторяю: пусть историки раскопают, как занесло на Святую Русь предков Федора Христофоровича Берггольца: остзейским ли ветром при матушке Екатерине, или шведским во времена Брюса и Боура, или латышским, - но в его деревянном домике за Невской заставой дочери, окрещенные в честь обеих бабок (одна варяжским именем Ольга, другая христианским - Мария), выросли уже под домашними русскими именами: Ляля и Муся. И все их детство рядом с жесткой бабушкой Ольгой была мягкая бабушка Маша.

От отца старшая дочь унаследовала золотые косы (вызывающие мысль, скорее, о Лорелее, чем об Аленушке) и вздернутый славянский носик (который тоже плохо вписывался в образ романтической революционерки, или "настоящей комсомолки", каковой ей суждено стать).

Комсомола еще нет. Есть бесконечная родня, бабушки-дедушки, тетушки-дядюшки... "с ихними днем ангела". Есть рабочая окраина, то гудящая, то полыхающая. Ночью занимается зарево, нянька Авдотья, обнимая "дитенка" крепкими крестьянскими руками, шепчет:

- Ницего, Лялецка, ницего... Это уцасток горит, фабричные опять бунтуют. Мало им, цто государя-анператора свергнули, теперь вот и сам уцасток подозгли... Ницего, он далеко, головески к нам не залетят, не бойся...

Залетели головешки. Два-три года спустя "дитенок" узнает, что зарево то - не что иное, как зарево Октября, осветившее новым светом путь всему человечеству.

Но, кроме того, западает с детства в душу и еще кое-что, не столь всемирное - от той же няньки Авдотьи, которая в праздник, усевшись на кровати и вытянув руки на мощных коленях, заводит на весь дом тоненьким, "долгим" голосом: "А как родимая сторо-

* Из цикла "Засадный полк".

онушка..." - и дальше не может пропеть ни слова, начинает плакать беззвучно, безутешно, бессловесно.

Эта-то беспричинная и бессловесная русская тоска, помноженная на "мужицкое терпенье Аввакума", входит в душу наряду с веселой бодростью "старого дерптского студента" и составляет данную тебе изначально жизнь, которая при скачке из детства сразу в юность (минуя отрочество) должна быть вырвана из души! Чтобы потом неведомыми путями вернуться и неведомыми же путями помочь душе выстоять.

А пока надо расстаться с бабушкиным Богом. Это просто: душа, заряженная таинственным поэтическим вирусом, переводит молитву на свой язык: "Цветы божьи, цветы крепки, цветы бессмертны..."

Поворот того же сюжета: в 1918 г., уезжая на Южный фронт, доктор Берггольц отправляет жену и двух дочерей из голодного Петрограда в тихий Углич. Цветы божьи проходят испытание на крепость: семья поселяется в келье опустевшего монастыря.

Келья освещена коптилкой, спички на счету, неосторожный вздох - и огонек гаснет. Тьма охватывает душу. Просвет - при возвращении в Питер: голос попутчика в поезде. Свет добудут из водопада, это называется Волховстрой. Ленин так велел...

Свет - от Ленина. А тьма? А голод, холод, вечные нехватки?

- Это из-за Колчака, - объясняют в школе. И почти буквально, фразой матроса, сопровождавшего Уэллса. Когда британец, кутаясь в свой плед, недоумевает по поводу русских порядков, матрос объясняет ему со всей возможной флотской деликатностью: "Видите ли, блокада четырнадцати держав..."

Блокада. Дальним сполохом проходит слово в сознании десятилетней младшеклассницы. На всю жизнь врезаются имена-эмблемы: всеобъясняющее зло - Колчак, всеобъясняющее добро - Ленин. Даже и много лет спустя, в мыслях о Первороссийске: первую коммуны на Алтае разгромили колчаковцы!

Могла ли она вообразить, какой рокировкой вывернется это противостояние семьдесят лет спустя: лучший гидрограф России - против узурпатора-тоталитариста... Пока что гидрография такая: Колчак - гидра контрреволюции. Ленин - строитель гидростанции.

- Лорду в морду! - ликуют школьницы на демонстрации. - С Интернационалом воспрянет род людской! - поет пионерская дружина имени Розы Люксембург, и вместе с нею весь мир!

Первое стихотворение тринадцатилетней Ляли Берггольц, напечатанное на машинке лиловыми буквами и опубликованное в стенгазете фабрики, где в амбулатории работает папа (папа и отнес дочки стихи), - плач об умершем "милом Ленине".

Это поколение не "входит" в "коммунистическую веру", не выбирает ее, не "выстрадывает". Оно в ней осознает себя, обнаруживает ее как данность. Как единственную данность. Как единственно возможную форму жизни.

Что еще характерно для поколения, получившего из рук Советской власти Земной шар и как реальное наследие, и как поэтический символ, так это полное отсутствие страха перед литературой, перед профессиональной высотой, которую надо "взять". Все - изначально твое! Поэзия, проза, печать.

"Милый Горький! Все писатели умерли, один Вы жив остались..."
И ведь ответит в конце концов Горький юной корреспондентке!

Она храбро приходит в "известный красный кирпичный дом на Фонтанке". Высокий дядька, появившись "в изгибе рояля" и фыркнув волосатыми ноздрями, объявляет очередное заседание Союза поэтов открытым.

- Кто это? - толкает носительница золотых кос какую-то бабульку.
- Господи боже мой, ну, Корней! Корней Иванович Чуковский!
- А можно я прочту стихи?
- Можно, деточка... Идет к роялю...
- Я каменная утка, я каменная дудка... Добрый доктор Айболит обнимает за плечики:
- Прекрасные стишки... Товарищи, это будет со временем настоящий поэт!

Знак времени: "Мы беззаветно, бесстрашно, я бы сказала, яростно влюблены в поэзию, еще не отдавая себе отчета, какая она..."

Какая она, объясняют корифеи филологии на курсах при Институте Истории Искусств: Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов, В. Шкловский. Один из профессоров Б. Томашевский выставляет студентку Берггольц с зачета за то, что она не может отличать пеон-один от ямба и пеон-два от хоря. Между прочим, знаменательный эпизод: ни "мастерству" как таковому, ни чистой технике стиха Берггольц никогда не станет придавать значение. В ней изначально нет ни того изумления, с которым, например, постигал магию поэтического слова юный деревенский сочинитель М. Исаковский, ни той авгуровской многозначительности, с которой шаманил над стихами молоденький И. Сельвинский, ни вообще того упоения фактурой, с которой первые советские классики обучали стиху "безъязыкую улицу". У поколения первых советских школяров все складывается проще, яснее и прямее.

Рифма может быть бедной. Может быть приблизительной. "Шла к отцу и слез не отирала, трудно было руки приподнять. Ледяная корка застывала на лице отеком у меня" - это Берггольц в самом расцвете таланта. О своих строфах говорит: "почти не стихи". Никакой отдельной "формы", никакого специального "мастерства" - только точность формулировки. Аскетичная графика. Предельная целеустремленность.

Прямота, равная правде¹.

И только с чистейшим сердцем,
и только склонив колени,
тебе присягаю как знамени,
целуя его края -
трагедия всех трагедий -
душа моего поколенья,
единственная,
прекрасная,
большая душа моя.

Каким образом "трагедия всех трагедий" входит в судьбу докторской дочки, решившейся порвать с дядьками и тетками отчего дома? Поначалу ей грезится: стать тургеневской героиней. Или пушкинской - в пику обывательскому уюту. От этой мечты остается только решимость полюбить с первого взгляда: "Вот он!". Все остальное - не от классиков века минувшего, а от первопроходцев века нагрязнувшего. Уйти из дома (из деревянного, двухэтажного, в пригороде) в коммуны, возведенную в центре (какой-то шутник окрестил этот фаланстер "слезой социализма"; сама Берггольц обошлась бесслезным определением: "самый нелепый дом в Ленинграде", но это потом; первоначально она была вдохновлена).

Кухня - общая. Еда - самая простецкая. Стаканы - граненые. Продавленные стулья, а лучше - табуретки. Долой скатерти - столы покрыты газетами. Косы - срезаны. Золотистая челка выбивается из-под косынки. А глаза... "проруби глаз" - голубые, льдистые, прозрачные до самого дна. Их взгляд "прям и бесстрашен до отчаяния".

Это последнее определение принадлежит Сергею Наровчатову. Оно явно нестандартно. А стандарт такой: "братва", "иди к черту", "не трепись" - краснокосяночница в кожанке пишет заметку, сидя на подоконнике в редакции какой-нибудь заводской многотиражки... или газеты. "Советская степь", куда выпускница вуза сбежала вопреки распределению. Распределили - в отдел пропаганды ленинградского обкома комсомола, сбежала - в казахстанскую глубинку. И тут, и там строят фундамент социализма. Но там - труднее.

Надо быть там, где труднее. Где беда. Где гибель. "У нас еще не перемерить горя..."

Какое-то смутное предчувствие тенью проходит уже в ранних стихах, осложняя ликующую "земшарность". Что-то Горький заметил, глядя острым глазом сокола на приве-

¹ Использую определения, которые давали стиху Берггольц Г. Макогоненко, А. Павловский, П. Антокольский.

денную к нему Маршаком двадцатилетнюю журналистку, прожаренную рапповскими идеями и пишущую для детей будящие колыбельные:

- Что-то в вас есть, тетя Оля (горьковский стиль! - Л. А.), да не пойму что...

Может, вот это, загнанное в стихи, которые пишутся не для печати, а для дневника?

Какой-нибудь пустячный случай,
То чья-то реплика, то звук.
Вдруг начинают сердце мучить.
Кровь останавливают вдруг.
Как будто я стою босая
На казахстанском злом песке,
И нет воды, и все не знают.
Что жизнь моя - на волоске...²

А для печати? Для "дневной" половины бытия? И неизмеримое горе, и грозящие разлуки, и то, что светлый мир в какой-то неведомой глубине "страшен", - не только не ослабляют душевного напора, но стократно мобилизуют все существо.

Прекрасна жизнь, и мир ничуть не страшен
и, если надо только - вновь и вновь
мы отдадим всю молодость за нашу
Республику, работу и любовь.

"Работа и любовь", естественно, побуждают вспомнить ближайшего к Берггольц сверстника, действительно близкого ей и по духу, и по жизни, - Ярослава Смелякова, пришедшего в поэзию из типографии (Берггольц начинала как редакционный курьер). Но судьба подставляет ей другого союзника (союзника) из знаменитой троицы "kozyрей бубновых" русского стиха. Это Борис Корнилов.

В момент встречи ей шестнадцать. Ему - девятнадцать. "Я впервые увидела его, кажется, в феврале 1926 г... на одном из собраний литгруппы "Смена"... Коренастый парень с немного нависшими веками над темными, калмыцкого типа глазами, в распахнутом драповом пальтишке, в косоворотке, в кепочке, сдвинутой на самый затылок. Сильно по-волжски окая, просто, не завывая, как тогда было принято, он читал стихи...

Дни-мальчишки,
вы ушли, хорошие,
мне оставили одни слова, -
и во сне я рыженькую лошадь
в губы мягкие расцеловал..."

Корнилова прорабатывают за "есенинщину", но вряд ли по делу: валкость стиха тут чисто корниловская, слово "хорошие", взятое напрокат из есенинского "Пугачева", поставлено в паузную позицию, совершенно особенную, и Берггольц недаром запоминает именно эту строчку.

Их брачный союз ярок и недолог. Может, оттого, что не сочетаются музы. Тяжелая, скользящая стиховая походка Корнилова малосовместима с прямострунной музыкой Берггольц... впрочем, такая контрастность как раз могла бы и удержать их вместе... Но так или иначе, совместная жизнь не сложилась, и брак распался, оставив в душе Берггольц долгий и, как заметил Николай Тихонов, "мучительный и печальный след". В душе Корнилова - тоже ("Ольга - ольха", - эхом повторял он в стихах). В ее же поэзии поначалу вовсе ни звука, но постепенно, намеками начинает отзываться корниловский волжский паузник:

Милые мои, хорошие,
неизвестные друзья,
значит, все вы были брошены
иль не найдены, как я?

² Прочитировано по памяти со слов Берггольц Д. Хренковым в его книге "От сердца к сердцу" (Л., 1982).

Десять лет спустя после разрыва:

Ау, дорогая, лучшая,
румянец, июль, весна!
И песней моей разлучною
откликнется мне она...

И опять - уже в 1940 г. - прямой мелодической цитатой из корниловской "Качки":

Краем света, каменной кромкой
поднебесных горных хребтов,
пограничных ночей потемками
нас завязывала любовь...

"Мой первый, мой пропащий", - окликает и окликает она его, боясь назвать запретное имя, не зная, жив ли он или навсегда исчез в смертной зоне ГУЛАГа. Когда стало ясно, что - навсегда, написала вступительную статью к однотомнику Корнилова - яркую, точную³.

Она поехала к старенькой матери Корнилова в нижегородский Семенов. Она по-прежнему звала ее "мама", по-прежнему чувствовала себя *вдовой*, хотя "первого, пропащего" уже сменил в ее сердце - второй.

Этот второй и дает ей настоящее счастье. Именно он. "Любовь моя. Всегдашняя".

Университетский однокашник. Первое признание друг другу - ранним-ранним утром на безлюдной старинной Тучковой набережной, около пахнувших смолой опрокинутых лодок, под крик чаек, носящихся над розовой от зари водой. Совместное бегство от обкомовского распределения - в Казахстан. Совместная там работа. Совместные планы. Его книга "Пять поэтов" - от Пушкина до Маяковского. Так и не написанная. Умер от голода в блокадном Ленинграде в январе 1942 г. Ушел безмолвно, так что самое имя его - Николай Молчанов - звучит в ее воспоминаниях музыкальной невысказанности. "Плакала за всю блокаду один раз - когда шла из госпиталя, где умирал Николай..."

Шла тогда - к отцу через полувымерший город. Старый доктор все понял, ничего не спросил - имени умершего нет в этой сухой бессловесной тризне, в этом реквиеме, одном из самых пронзительных эпизодов книги "Дневные звезды"⁴.

И в стихах, написанных через семь лет после его гибели, - тот же озноб:

Вот я оглянулась сегодня... Вдруг
вижу: глядит на меня изо льда
живыми глазами живой мой друг,
единственный мой, - навсегда, навсегда.

А я и не знала, что это так,
Я думала, что дышу иным.
Но, жизнь моя, радость моя, мечта,
жива я только под взглядом таким!

³ ...В которой только одно положение спорно: "Если б не бессмысленная гибель... вероятно, он стал бы очень крупным поэтом". Я думаю, он *стал* им, несмотря на бессмысленную гибель. А рассказываю об этом, потому что имел случай вникнуть в ситуацию, когда в 1966 г. сам писал статью о Корнилове - вступительную к еще одному его однотомнику, и Ольга Федоровна ту мою статью прочла. Ее отзыв довел до меня ее старый друг (и мой тогдашний наставник в критике) И. Гринберг: "Она сказала: нич-чего себе статейку написал о Борисе этот ваш Аннинский". Так до сих пор и не знаю, что означало это "нич-чего себе". Но бережно храню в памяти единственный донесшийся до меня знак внимания великой мученицы.

⁴ Два слова об этой книге. Сомневаясь в "мастеровитости" своих стихов, Ольга Федоровна, по воспоминаниям Н. Банк, как-то "сказала, причем без тени кокетства, что испытывает сомнения, является ли девяносто процентов написанного ею *литературой*, имеет ли художественную ценность". Скажу на это, что художественная ценность вообще не реализуется вне жизненной ситуации. Если уж искать стилистические параметры, то "Дневные звезды" - прозаическая исповедь Ольги Берггольц - это стихи в прозе, пронзительные, как натянутая серебряная струна (рифмы, наконец, ничего не связывают). Книга эта на девяносто процентов - вклад в мировую культуру (десять процентов отношу на счет агитационных пассажей по части коммунистической веры), и я с полным основанием соединяю эту прозу со стихами в едином исповедальном наследии Берггольц.

Я только ему еще верна,
я только этим еще права:
для всех живущих - его жена,
для нас с тобой - твоя вдова.

Третий никак не может вытеснить второго... Третий не назван в стихах по имени (поэтому не назову его и я, хотя, как и все биографы Берггольц, знаю, кто это), но обстоятельства любви прописаны точно. Радиокомитет, казарменное положение; все смещено, как в бреду: казенные диваны вдоль стен, сотрудники ночуют здесь же, один затих (утром обнаружили, что умер). "Я здесь стихи горчайшие писала, спеша, чтоб свет использовать дневной... Сюда в тот день, когда я в снег упала, меня ты и привел - бездомную-домой..."

Привел и властью радиокомитетского завлита приказал написать поэму ко дню Красной армии, к 23 февраля 1942 г. Чтобы спасти от отчаяния. Поэма спасла душу и тело: "Февральский дневник". Дописанная к сроку, тогда же, зимой 1942 г., прозвучала в эфире, потом была напечатана в "Комсомольской правде". А дневник любви (третьей любви) укрыл драму сердца аж до стихов 1947 г.:

Взял неласковую, упрямую,
с бредом каторжным, с темной думою,
с незажившей тоскою вдовьей,
с непрошедшей строгой любовью,
не на радость взял за себя,
не по воле взял, а любя...

И еще через пять лет:

...О, пусть эти слезы и это удушье.
Пусть хлещут упреки, как ветви в ненастье.
Страшной - всепрощенье.
Страшной - равнодушье.
Любовь не прощает. И все это - счастье...

И еще через семь лет, обрываясь в финале:

Дойду до края жизни, до обрыва,
и возвращусь опять.
И снова буду жить.
А так, как вы, счастливой
мне не бывать.

Через три лирических сюжета проходит, опалаясь и обугливаясь, уникальный характер. Почти нет "девушки-невесты". Через все стихи - изначальной черной тенью - вдовий траур. Душа создана не для счастья, а для трагедии. Если счастье есть, то неотделимое от потерь. От ожидания потерь. От фатального ожидания потерь.

Сама мысль о счастье возникает при ожидании смертельного испытания. "Озноб восторга, озноб самоотречения" впервые пробегает "по позвоночному столбу" в день похорон Ленина: именно в момент потери дана клятва: "я принадлежу к Партии, сплоченной именем Ленина".

Почувствовав себя в строю своего поколения, она испытывает все его страсти, все предчувствия: и "земшарность" ("разве молодости мало мира, круглого, как шар?"), и ощущение, что не успели ("опоздали родиться к Октябрю и Гражданской войне"), и уверенность в счастливом скором осуществлении Мечты ("ты мерещилась всюду, судьба: в порыжелом военном плакате, в бурном, взрывчатом слове "борьба", в одиночестве на закате").

Все, как у всех: в едином строю, в едином порыве. Только еле заметный сдвиг характера отличает эту каплю, льющуюся с массами. "Млечный путь струится - по штыку". "Бессмертная наша Мечта... предстанет Ангелом Смерти".

Как и все, она завидует старшим. Но еще важнее, что ей должны завидовать. А почему? Потому что ей достанется самый страшный, самый смертный жребий.

"Веселое чувство сопротивления почти неминуемой гибели".

В этом нет ни абсурда, ни обреченности, но - железная готовность к тому, что Главное Дело Жизни по определению не может быть счастливо завершено, и тем не менее оно есть смысл жизни. Честно говоря, что-то немислимое ни для марксистской "непрощающей", ни для русской всепрощающей традиции. Что-то от "Нибелунгов": победим и умрем...

Самые яркие в истории советской публицистики страницы "Дневных звезд" посвящены феномену Главной Книги, которую писатель пишет всю жизнь и ради которой живет. То, что написано, всегда оказывается неглавным: это лишь черновик. Главная Книга - всегда больше замысел, чем воплощение, всегда мечта, предвосхищение самой себя. И эта Главная Книга - *никогда не может быть дописана*.

Рок сторожит ослепительную перспективу. Чернь таится за золотым сиянием. Пепел - за огнем.

Синеглазый мальчик, синеглазый,
Ни о чем не спрашивай пока.
У меня угрюмые рассказы,
песенка - чернее уголька.

Тут вся палитра: лен волос; полыньи глаз; а под этим - пламя, отчеркнутое пеплом.

Ключевой образ - дневные звезды. И это не поэтический "фокус", не игра "мастера", а непреложная реальность: видны эти звезды только из глубинной черноты колодцев, из тех "молчаливых, глубочайших недр, где уголь превращается в алмаз".

Какое же должно быть давление, какое сжатие сторон, какое противостояние сил! И какое запредельное самообладание! И непредсказуемый темперамент! Когда в 1948 г. из Демократической Германии прибывает в Ленинград делегация, состоящая из коммунистов и антифашистов, Берггольц предлагает - в числе других - гостеприимно принять немцев. Да, конечно, приехали *другие* немцы, не те, что девятьсот дней методично артогнем выкашивали ленинградцев на улицах. Но из глубокой прапамяти, из черных ее колодцев всплывает: а все-таки - они!

Всплывает и у "них", и у "нас".

Один из "них" берет слово:

- Сидящие здесь немцы не виноваты в том, что... произошло. Но стыд не покидает меня. В этом городе никто не бросает в нас камни... Вы нас встречаете гостеприимно и дружелюбно... - Немец, не выдержав, плачет.

"И вдруг вся юность наша взмыла над нами, - пишет Берггольц, в которой мгновенно воскресает пионерка двадцатых годов. - Ведь и юные спартаковцы, и Тельман, и юнг-штурмовцы, и поднятый вверх сжатый кулак с возгласом "Рот фронт" - это тоже шло к нам из Германии, от ее Революции, от ее рабочего класса".

Положа руку на сердце: многие ли из тех, кто похоронил близких в дни блокады и ходил, держась за стенки по той стороне улицы, которая при обстреле менее опасна, и девятьсот дней проклинал гитлеровское воинство, - многие ли способны были бы среди неубранных руин *вот так* увидеть Германию?

От ума - может, и способны. Но есть еще уголь души, огонь и пепел, тлеющие у поэта среди руин памяти.

Стоит белая ночь. Демократические немцы и гостеприимные ленинградцы сплоченно сбегают к Неве у Ростральных колонн, и тут дочь доктора Берггольца, ловя первые лучи утренней зари, радостно оборачивается к оторопевшим гостям:

- Гутен морген, фриц!!

Поэзия договаривает то, перед чем замирает мысль⁵.

⁵ Этот эпизод объяснен в воспоминаниях Берггольца: после войны мальчишки бегали смотреть, как работают пленные немцы, дразнили их. Одна девочка тоже пошла и увидела, что немцы похожи на тех дистрофиков, каких она запомнила со времен блокады. И вот она приблизилась к одному из пленных и сказала: "Гутен морген, фриц". Реакция того немца описана в "Дневных звездах". Но немцы, приехавшие с делегацией в послевоенный Ленинград, этой истории не знали, и можно представить себе, как они остолбенели от ликующей реплики знаменитой поэтессы.

Я пытаюсь связать живой облик поэта с теми стихами, которые врезаны в гранит истории. Мадонна блокады, исповедница трагизма русской жизни, несгибаемая коммунистка - каким запредельным чутьем ловила она подступавшую тьму в зареве будущего и ставила самоотречение гибели выше того счастья, к которому приготовилось ее поколение? И как не сломилась ни верой, ни духом, когда испытание пало на всех? Что означает ее судьба: победу ослепительной веры над тьмой или ослепление верой, когда тьма охватывает в реальности? А может, и то и другое: тьма и свет разом, светлые миражи Двадцатого века, без которых не перейти было черные бездны Двадцатого века? И все это - в пряменькой хрупкой женщине, обрезавшей когда-то косы - как при переходе в монашеский чин - во вдовый чин коммунистического воинства - во владение всем накопленным в человечестве наследием.

Единственный раз я увидел Берггольц, когда ей было уже за шестьдесят. Через Большой зал московского Дома литераторов ее почтительно вели в президиум какие-то рыцарственные спутники; по залу шелестело ее имя. Она была в белом, белыми были ее легкие, невесомые волосы: она вся была невесома, шла, как по воздуху, нащупывая дорогу. Несгибаемая коммунистка. Непререкаемый авторитет либеральной, оппозиционной, вольнолюбивой столичной интеллигенции.

Как это совмещать? Тайна личности, загадка судьбы. Завершила программную свою вещь, трагедию "Верность", словами "Народ и Партия". Но первая же и сказала этой самой партии, что травля Анны Ахматовой (известное Постановление 1946 г. по докладу А. Жданова) - несправедливость и ошибка⁶.

"Шипит" на Евтушенко, не приемлет молодых бунтарей эстрады.

Но первая же бросает выстроившимся для парадной дискуссии теоретикам социалистического реализма (дискуссия - обязательный ритуал при назначенном съезде писателей 1954 г.), швыряет в их круг лозунг: "самовыражение поэта". И теоретики долго рвут и треплют эту идею как чуждую, не смея, однако, отлучить от советской литературы Страдалицу Блокады.

А за десять лет до этого сама становится объектом проработки - за "пессимизм" блокадных стихов ("исключительно тема страдания" - замечает с неодобрением Александр Прокофьев в докладе на пленуме Правления Союза писателей в мае 1945 г.).

Ответ Берггольц: "И даже тем, кто все хотел бы сгладить в зеркальной, робкой памяти людей, - не дам забыть, как падал ленинградец на желтый снег пустынных площадей!".

Не давала забыть. Не давала подличать. Не давала лгать. Не давала отречься от того, во что верила.

Аура ее присутствия в нашей культуре - мощнее и сильнее воздействия отдельных ее произведений, за которые она получала Сталинские и прочие премии как за программные. Да и их смысл не так прост, если учесть трагический контекст истории, а он-то и был для нее главным. Программный смысл поэмы "Первороссийск", писавшейся с 1949 по 1957 г. (а потом продвинутой на экран авторами фильма, переведшего сюжет в немислимо-красочную киногению), вроде бы ортодоксально ясен. Но, если вдуматься, отдает миражем.

"В февральский выюжный день 1918 г." рабочие Обуховского завода при одобрении и содействии Ленина отправляются на Алтай строить первую настоящую коммуны - "Первороссийское общество землеробов-коммунистов". Сокращенно - Первороссийск. До этого люди "мечтали о городе Солнца, о фаланстере, о коммунизме". А питерские рабочие там, на отрогах Алтая, эти коммуны построили.

Так вот: все, что они там построили, немедленно уничтожено живущими на тех отрогах казаками. И ладно бы, уложилась беда в обычный стереотип, по которому во всем виноват все тот же Колчак. Но вот рассказчица идет по земле, на которой когда-то была коммуна, идет, с трудом раздвигая дикие травы, и видит, как "выше человеческого

⁶ Преданнейшая любовь к Ахматовой (и к Борису Пастернаку, и к Марине Цветаевой) - может быть, интуитивная компенсация той "аскетической простоты", которую, как схиму, наложила на свои стихи Берггольц?

роста вздымается конопля, источая удушливый запах мечты... и до колен поднимается полынь со страшным запахом разочарования и горя... и в лицо плещут лебеда и бурьян", поглотившие "землю дерзаний, землю мечты". Тут уж начинают действовать поэтические обертоны, явно превышающие мысль: и наркотический эффект слова "конопля", и темень Чернобыля в слове "полынь", словно учуянная за десятилетия до того горя...

Может, не белоказаки-колчаковцы - главная преграда на пути к мечте, а та дикая и вечная природная материя, в которой увязла "дерзновенность коммунаров"? Может, именно с природой, с косной натурой фатально борется гордый дух? И спешит он "скорей свести с природой счеты", - как сказало в ранних стихах Берггольц? А что если это, гегелевски говоря, дурная бесконечность? То есть: первая коммуна разгромлена, за ней вторая, третья (все - питерские пришельцы), на их костях эпоху спустя организованы колхозы (один из них назван: "Первороссийск"), но, как бы в насмешку над дерзновениями, все эти земли еще эпоху спустя очередными строителями коммунизма назначаются к затоплению.

Автор поэмы "Первороссийск" получает приглашение на праздник открытия Бухтарминской ГЭС - присутствовать при рождении рукотворного моря, которое вот-вот заплещет "над коммунарами".

Вот-вот заплещет, думаю, в сознании рассказчицы водоворот, который уже крутится в моем читательском подсознании: а не заложена ли в таком развитии сюжета некоторая... скажем так, абсурдность? Да ни тени! Весточка, присланная из поездки, звучит как стихотворение в прозе, продолжающее поэму и лишь случайно реализованное в жанре телеграммы. "Прости молчание совершенно здорова закружилась встречами разъездами очень счастлива".

Счастье равновелико испытанию. Победа равна гибели.

Только одно ощущение изначально и окончательно невыносимо для Берггольц - ощущение абсурда:

А я вам говорю, что нет
напрасно прожитых мной лет,
ненужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.

Написано - как прямой ответ на вопрос о бессмысленности происходящего.

Один только раз жизнь ввергла Берггольц в ситуацию, полностью для нее абсурдную." В 1937 г. меня исключили из партии, через несколько месяцев арестовали. В 1939-м я была освобождена, полностью реабилитирована". И ни слова больше об этом в "Попытке автобиографии"! На фоне обильных описаний других жизненных эпизодов такой лаконизм становится художественным *неответом*: абсурду нельзя отвечать!

У Анны Барковой вера вывернулась наизнанку при аресте и приговоре, Николай Заболоцкий душу вручил "созвездьям Магадана", Корнилов смертное предощущение в стихах оставил... Может, из-за Корнилова и попала в мясорубку НКВД его нераскаянная вдова? Неведомо. Молчит муза под взглядами дознавателей. Немота - ее ответ⁷.

И все-таки глухие намеки можно уловить в стихах 1937 - 1939 гг. "Сколько раз посмеетесь, сколько оклеветаете, не цена, за веселую скороговорку, за угрюмство мое меня?... Я-то знаю, кто вы такие, - бережете сердца свои... Дорогие мои, дорогие, ненадежные вы мои..."

⁷ "Из арестованной Ольги, беременной, выбили тогда ребенка", - пишет о "великой женщине столетия" Вл. Леонович ("Родина", 2004, N 4). Что Берггольц великая женщина столетия - абсолютная правда. Но что "выбили ребенка" - легенда, рожденная на месте отсутствующих сведений. Насколько я знаю, ребенка "выбили" не чекисты, а общие катастрофические обстоятельства жизни; две маленькие дочери Ольги Федоровны умерли одна за другой от болезней еще до ее ареста (одна дочь - от первого мужа, другая - от второго). Ребенок от третьего мужа погиб в материнском чреве из-за блокады. Поневоле признаешь безжалостность рока, отсекающего живые побеги вдовьего дерева.

Словно в засаду попалась, не знает, откуда и почему стреляют, самое трудное - определиться... "Что же, друг мой, перезимуем, перетерпим, перегорим". А может, вместе со своими - в каком-то тайном засадном полку?

"Я не знала, зачем Ты это испытание мне дала. Я не спрашивала ответа: задыхалась, мужала, шла...". На "Ты" она - только с Родиной.

Считанные недели спустя, в июне 1941 г. это "Ты" еще раз возникает в стихах, и ситуация, наконец, раскрывается: война угрожает гибелью Городу и Миру (родному городу, сразу оказавшемуся прифронтовым, и миру, окончательно рухнувшему в мировую войну). Абсурд перечеркнут долгожданным ощущением великого Смысла:

Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!
Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной - с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала...
Он настал, наш час, и что он значит -
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя - я не могу иначе,
Я и Ты по-прежнему - одно.

Наступает звездный час. Близятся девятьсот дней. Великая женщина столетия встает навстречу судьбе.

"Казалось, мы до сих пор не знали ее", - всматривается Николай Тихонов.

Из воспоминаний Веры Кетлинской, направившей Берггольц от Союза писателей в распоряжение ленинградского Радиокомитета: "Я не подозревала, что она станет самым необходимым и любимым поэтом ленинградцев". А вот - ее портрет 1941 г.: "Она ощущала каждую бомбу и каждый снаряд направленными прямо в нее... и все же ходила, не прячась". Бомба и снаряд вместе - это еще "общий план". Вот когда бомбы и снаряды жители начнут различать по звуку и смыслу..., но это к осени.

В последний день лета - 31 августа 1941 г. - перерезана последняя железная дорога, связывавшая Ленинград со страной. Немцы бросают листовку: "Штык в землю! Ждите серебряной ночи". Загораются бадаевские склады - маслянистый дым закрывает солнце. Блокада - ночь.

...Ночь. Триумфальной арки колоннада,
и у костра - красногвардейцев взвод...
Сегодня на защиту Петрограда
вооруженный выступил народ...

Ленинград осеняет себя Петроградом. В речи все чаще - слово "кольцо". 7 сентября первая бомба взрывается на улице. В речи все чаще - слово "штурм".

Мы будем драться
с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей.

Прекращено движение по улицам. К свисту бомб добавляется грохот орудий. *Полевых* орудий - все понимают, что это значит. "Фронт - за пустырем, за тем забором". У подъездов домов - бутылки с бензином - на случай прорыва немецких танков.

Всем, что есть у тебя живого,
Чем страшна и прекрасна жизнь, -
Кровью, пламенем, сталью, словом, -
Задержи врага, задержи!

Немцы вносят Берггольц в черный список: эти будут расстреляны сразу же по взятии города.

Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была...

Телефонная связь еще работает. После очередного обстрела - звонок: - Вера, ты жива?... Это в твоём квадрате? - Нет пока... Ой, в моем!... - Грохот разрыва, трубка брошена, из нее несется:

- Вера! Вера!! Вера!!!

И мужество сердцам да не изменит,
скорбь о погибших да не замолчит.
В своей крови,
в своей предсмертной пене
вы сами захлебнетесь, палачи!

Немцы отменяют штурм и начинают осаду. Гитлер объявляет: "Мы не штурмуем сознательно. Ленинград выжрет самого себя". То есть: голодные люди озвереют и вцепятся друг другу в глотки.

Вот так, исполнены любви,
из-за кольца, из-за разлуки
друзья твердили нам: "Живи!"
Друзья протягивали руки.

Единственной связью с миром становится радио. Точки связи - фонарные столбы, которые высятся среди сугробов: к ним по утрам стаскивают трупы для опознания, под ними затихают дистрофики, держась из последних сил и сползая. На столбах - черные раструбы радиопродукторов. По радио - никакой музыки; музыка долетает только из немецких блиндажей: фанфары, объявляющие "голос штаб-квартиры фюрера", да фокстроты со щebetом влюбленных. А в ленинградском эфире - только военные сводки и литературные передачи. Глава за главой - "Илиада" Гомера. "Педагогическая поэма" Макаренко. И - стихи...

Пятикрылые вижу звезды,
точно стали еще алей.
Сквозь дремучий кровавый воздух
вижу ленинский Мавзолей.

Из глухих колодцев ленинградских дворов не видно никаких звезд. Люди уползают в ледяные норы квартир и там, навалив на себя одеяла, шубы, платья, половики, какие еще есть в доме, слушают черную тарелку, единственный голос спасения. Возникший однажды перерыв (может, умер диктор, не сразу подменили) вызывает шок: люди бредут на улицу Профсоюзов, в Радиокomiteeт, чтобы сказать: мы выдержим, но пусть радио не молчит! Теперь, если нечего пустить в эфир, пускают метроном. Ритм отсчитывает биение сердца.

С немецкой стороны продолжает работать ритм ночных обстрелов: офицеры верхмахта, хлебнув коньячка, командуют орудийщикам: "А ну, поднимем ленинградских девочек!" - и артиллеристы начинают стрелять.

Был день как день.
Ко мне пришла подруга,
не плача, рассказала, что вчера
единственного схоронила друга,
и мы молчали с нею до утра.
...Какие ж я могла найти слова,
я тоже - ленинградская вдова.

Люди собираются около теплых котлов на остановившихся заводах, около кипяtilьников в домоуправлениях. Бездействие - смерть. Встретившись на ледяной тропке - одна идет через весь город сказать отцу, что стала вдовой, другая везет на санках умершего ребенка, - стараются разминуться на скользких рытвинах. На стене - объявление: "*Всем гражданам! Отвожу ихних покойников на саночках до кладбища и другие бытовые перевозки*".

О, любовь моя, жизнь и радость,
дорогая моя земля!

Из отрезанного Ленинграда

вижу свет твоего Кремля.

Однажды Кетлинская раздобыла бутылочку рыбьего жира и, приготовившись жарить лепешки из "причудливого месива, куда основной массой входила кофейная гуща", - позвонила Ольге и позвала, чтобы поделиться. Та ответила: "Иду". Идти надо было полтора квартала, в темноте, наощупь. Возле Филармонии обо что-то споткнулась, упала на полузанесенного снегом мертвеца. От слабости и ужаса не смогла подняться, стала застывать... и вдруг услышала прямо над собой голос. Свой голос. Из репродуктора. Голос несдающегося духа над готовым сдать телом!

Сестра моя, товарищ мой и брат,
ведь это мы, крещенные блокадой!
Нас вместе называют - Ленинград,
и шар земной гордится Ленинградом!

Поднялась и дошла до цели.

В конце 1942 г., уже похоронив мужа, согласилась слетать в командировку в Москву. Когда самолет оторвался от взлетной полосы, заплакала.

Летели низко, опасаясь немецких зениток. Над "кольцом" самолет атаковали немецкие мессершмиты; наши ястребки, сопровождавшие рейс, начали с ними драться, бой шел над лайнером, видно было, как один из истребителей врезался в землю.

В Москве гостью встретили радушно, удивились, что такая круглолицая - тут еще не видели людей, отекавших от голода. Расспрашивали о жизни осажденных ленинградцев, задавали множество вопросов.

- А правда ли, что Исаакиевский собор разрушен?

- Нет. Не разрушен.

- А правда ли, что в Ленинграде норма 250 граммов хлеба в день?

- Правда. Но было и 125.

- А что эта за болезнь - дистрофия? Она опасна для жизни? Вот сын Алексея Толстого приехал - почти что труп, и так жадно ест...

"Я не доставила москвичам удовольствия видеть, как я жадно ем... Я гордо, не торопясь, съела суп и кашу..."

"Февральский дневник" читают в списках, не дожидаясь публикации. Автора зовут на московское радио. Но дружески предупреждают, что по цензурным соображениям, во избежание урона боевому духу - в эфире о голоде упоминать не надо.

Но восьмой день пребывания в столице - письмо домой:

".. .Тоскую отчаянно... Свет, тепло, ванна, харчи - все это отлично, но как объяснить им, что это вовсе не жизнь, это сумма удобств. Существовать, конечно, можно, но *жить* - нельзя. Здесь только быт, *бытие* - там..."

Для бытия не нужны ненадежные друзья, для бытия нужны надежные враги.

При первой же возможности - *туда*.

И, перелетев в "кольцо", вернувшись в родной раскаленный эфир - выметнула душу, объятую аввакумовским пламенем:

- Товарищи! Мы в огненном кольце!..